

игры", приглашая меня, читателя, в заманчивые лабиринты своих стилистически тонко сплетенных повестей, в свой детективный "цирк", я отношусь к этому надлежащим образом, то есть с должным уважением к профессионализму автора. Когда же, однако, имя Акунина появляется в печати и на театральной афише рядом с Чеховым, и знаменитая "Чайка" превращается в объект непрошеного соавторства, тут, простите, чувство юмора меня оставляет... Я называю это профанацией литературы, искусства. Загримированная литературная посредственность, безусловно, чувствует себя хорошо прежде всего там, где нет требовательного читателя и критика.

Немного, если позволите, об этом. О русских в Париже, о "русском" довоенном Париже существует довольно большая литература, от Тэффи и Дон-Аминадо до Одоевцевой, Терапиано, Андрея Седых, Гуля, Бахраха или, скажем, упомянутого уже Яновского... Но вот, что удивительно — вместо того, чтобы обратиться непосредственно к их книгам, которые сейчас почти все перепечатаны с западных изданий в России, читатель стремится получить эти же истории в сладковато-наивных пересказах Бориса Носика!.. Тут, впрочем, для меня заключается загадка читательской души. Вернее, я понимаю это лишь как одно из конкретных проявлений резкого снижения у русского читателя критических критериев, вкуса. То есть, говоря о разных аспектах современной русской литературы, я действительно не могу избавиться от ощущения, что ситуация в целом очень и очень незавидная. Наличие в ней Битова, Аксенова, Жванецкого, Евгения Попова, Маканина, Улицкой, еще горстки серьезно работающих авторов (я — о тех, кто, слава Богу, находится в здравии), ободряет, но нарушенного в целом баланса не восполняет. Возвращаясь к Ставрову, полагаю, его творчество следует считать частью подлинной, выдержавшей испытание временем, скромной внешне и глубокой по сути русской культуры. Даже если ее остается не очень много, она необходима.

— **Где похоронен Ставров, в каком состоянии находится его могила?**

— Судя по некрологам, под Парижем, на кладбище городка Брюнуа. Я начал поиски его следов поздней осенью прошлого года. Мысль о поездке на это кладбище возникла сразу же, как только выяснилось это место. Однако затем решил отложить поездку до теплых дней начала лета, когда сумерки наступают позднее, земля сухая, можно не спеша походить по дорожкам, поискать надгробную плиту или крест. Возможно, что-то сохранилось. Делать какие-либо прогнозы мне не хочется.

Мосье Жан

"Асфальт и герани, красные, бледно-розовые, на чистеньких клумбах. На Украине такие на широких, битой глины "призбочках" по деревьям. Цветы на асфальте, последний отклик полей... какие, впрочем, поля в Сэн-Мартэне, больше асфальта, чем полей. Мишу бьет по асфальту ножкой, кричит "alerte", когда летят авионы. По-русски "alerte" — тревога, кажется. Мишу никогда не скажет — тревога... добри вечор, рара, qu'il dit. Пять. Не забыть бы пять поручений Жанины. Как она кричала, когда я ей нож под сердце подводил... Как ей понять такое".

Кричала не Жанина. Кричала, истошно визжала свинья Маша, кося белесыми, проснувшимися от ужаса глазками на страшные приготовления для страшного дела. Дело было, впрочем, простое, житейское. Мосье Жан заколол вчера свинью для засола на зиму и для "черного рынка". Мишелю нужны ботинки — раз, Жанине — меховая шубка — два, и прочее, и прочее.

В дороге делать нечего. С игрушечного вокзала в темноватый вагон, а там сиди и жди, пока попадешь в нужную тебе точку. Дремать можно, крестословицы решать, позевать, скользить взглядом по мелькающим в окне видениям.

Мысли текут лениво. Вот соседка даже рот раскрыла, задумавшись, и вздыхает по временам.

Оттого и мосье Жану можно побыть Иваном Николаевичем, студентом с философией или юнкером с благими порывами. Мосье Жан тоже не исчезает, конечно. Красная полоска летнего загара на лбу, слишком грубые руки, костюм деревенского конфексионера, — но есть остатки военной выправки и некая мечтательность взгляда.

"Да и мне, собственно, как понять такое. Вчера — дорогая Маша, а сегодня — на крюке подвешена... даже глядеть страшно. Это жизнь, как говорится. Эх, жалко, Маша, что жизнь не наша... Философствуешь, а поручения забудешь... Хорошо, если с этим Кривцовым дело слажу, — а если нет... Маша ждать не может".

Поезд бежит (бег неважный, едва ли сорок в час), вагоны скрежещут на поворотах, по стеклам бегут, нарастая, исчезают мгновенно капли дождя. Рыжие поля, неожиданная зелень огородов, игрушечные, смешные домики.

* Рассказ П. Ставрова получен редакцией из Парижа.

Вскоре, однако — мимолетные провалы туннелей, изъеденные проказой стены, широкая паутина путей на унылой мокрети.

Белый пар клубится в тяжелом небе, редкие клочья задерживаются, растекаются под черной, сожженной сажой крышей.

Визг, скрежет. Приехали.

Парижский же вокзал — не то, что вокзал деревенский. Затертый, заплыванный пол, однообразное шарканье ног по обширным плитам. Тонкие, голого железа колонки уходят в скучную высь. Тяжелая клажа, суета, бег на месте. Храм железнодорожной скуки.

Мосье Жану достаточно скуки своей, деревенской. Вечер за вечером, вечера, как тяжелый свинец. Два месяца, как погасли лампочки, не хрипит больше радио, потух внешний мир.

Покидая вокзал, мосье Жан облегченно вздыхает. Подбодриться, забыть, расправить неуклюжесть движений, дельце обделать, окунуться в дела. Просыпаются также мысли Ивана Николаевича. В кафе-ресторане, где назначено свидание, есть русская водка. Встряхнуться немного, quoi. Предвидится легкий туман, приятное настроение, новые деньги, случайности жизни. Потом — потом, отчего же, можно вернуться с утренним поездом. Мосье Жан бодро переходит площадь в установленном месте. Он рад концу короткого путешествия.

"Отчего только в кафе с музыкой. Тоже выдумал. Машинным телом торговать под звуки веселого вальса. Узнать его надо — маленький, серое пальто, русая борода, будет русскую газету в руках держать. В Сэн-Мартэне же газет не читаю. Мир сотрясается, а Ивану Николаевичу полагается в навозе копать. Конечно, Жанина, Мишу, своя земля, но все же... День за днем, а выходит целая жизнь... зацепиться не за что, то ли высшее счастье, то ли туман какой-то".

Аперитив перед завтраком — отвлекает от неожиданных мыслей. Публики в кафе еще мало. Оркестр на возвышении тихо пиликает, настраиваясь. За столиком торчат одиноко ожидающие девицы.

"Странное тоже занятие — с утра сидеть, поджидая, чтобы подобрал кто-нибудь. Сидят, торчат, и о чем они думают, поджидая, — монументальная пустота... Сон какой-то..."

Зал оживляется все же. Замелькали белые пятна салфеток на сереньких столиках. Мосье Жану очень захотелось продать Машины останки.

"Маша не может ждать... Отчего он не идет, право..."

Вертелась входная дверь, мелькали серые пальто, серые шляпы, а русской бородки Кривцова все не было.

Кривцов подошел как-то сбоку, помахивая русской газетой.

— Кажется, свидание с вами... вы...

— Да, да, простите... узнал бы и без газетки.

— Разрешите представиться...

"Узнать не трудно, борода русая, а кто теперь носит бородки — глаза рыбы, рыбы глаза, ну, вот, и неприятно".

— Присаживайтесь. Для начала российской...

О Маше сначала нельзя, о Маше после третьей рюмки. О политике тоже скользко. Ну, там, о погоде...

"Росту он маленького, и какое мне дело до его роста, а глаза рыбы, тусклые, немного навькате, ну, и рыбы..."

Поговорить можно о российском прошлом. Безобидно, и тема неисчерпаемая.

— Вы, ведь, кажется, тоже...

— В Павлоградском... бились в Ногайских степях... под Одессой рука прострелена.

"И какого черта он об Одессе вспомнил. Ветер, ледяной ветер... Жанина никогда понять не могла..."

— Да, да, были дела. Так вот, о деле.

— Отчего же, Иван Николаевич, можно и о деле. А водка у них вкусная, удивительно даже.

Соседка улыбается — нравится широкий русский размах.

— Русские, щедрые русские... водка... не пригласите ли завтракать?

— Нет, мадамочка, мы должны оставаться одни. У нас дела — понимаете, дела.

После третьей с закуской поговорить совсем приятно. Все легко выполнимо, все будет закончено ко взаимному удовольствию.

За большими витринами мелкий дождь, а в кафе тепло, уютно, гарсоны обслуживают. Даже дым папиросный приятен.

"При чем тут, право, воспоминания. Если снять русую бородку..."

— Сто двадцать на сто сорок — это уже надо с карандашиком. Пенсне снять надо.

— Не угодно ли салату? Как же, как же, в декабре на "Енисее" эвакуировались. Погодка была, ах, какая погодка...

"Рыбы глаза без пенсне — невозможно, совершенно невозможно... Это не он, не может быть, чтобы он. Погодка была действительно, ах, какая погодка, дул свирепый ветер, пронизывало, срезало дыхание. Одежда как решето... Голые красные руки скользят по обледенелым канатам трапа... Куда лезешь — не лезь! Нагайкой по красным, распухшим рукам... Ле-

дяные зеленые волны... Не может быть, чтобы он. Музыка не останавливается, гарсоны снуют по-прежнему, вертится дверь — не может быть, чтобы он..."

— Семен... простите...

— Никифорович...

— Никифорович... Вы действительно на "Енисее"?"

— На "Енисее", в декабре, из Одессы.

"Свиделись, можно сказать, свиделись. За горло, сволочь, за горло... Нагайкой по распухшим, голым... Рыбы глаза, потом холод, как нож... Холодно и черно..."

— Вы, Семен Никифорович, шрам на руке узнаете?

— Что его узнавать. Хе-хе, у меня самого рука прострелена. Дело кончаем, Иван Николаевич. Мне после кафе бежать надо.

Туман от папиросного дыма, гарсоны снуют, не останавливаются — остановись, музыка.

Девушка, та, что покрасивее, рядом, соседке:

— Знаешь, в деревне ему лучше. Сто франков, но зато молоко и бифштекс каждый день. А здесь он все кашлял, кашлял, кашлял. Ему скоро десять лет будет. Доктор говорит, выскочит...

Мосье Жан прислушивается (вот вы, девочки, о чем разговариваете), соображает. Продавать Машу или нет. Цена выгодная... Схватить его за горло, что ли...

От выпитого алкоголя все в легком тумане и все не очень настоящее. Слава Богу, что не настоящее.

Ну, какая там Одесса, здесь Париж. Мосье Жан свиню продаст Кривцову на "черном рынке".

"...В больнице на рассвете — какая тоска, не спится... Еще темно. С трудом различаешь — все койки, да стены, — а пусто... до утра дожидаться, все равно, что жизнь второй раз прожить. Все ушло, свои ушли — придут, заберут красные... в полусне, в бреду — куда лезешь, не лезь... в ледяную зеленую воду... Росту он маленького, глаза рыбы — запомнить бы, не забыть... искать всюду, всю жизнь искать... за горло его, за горло... Дорогой Иван Николаевич, здесь тебе не больница, здесь кафе с музыкой... Жанина дома денег ждет. Пять поручений, игрушки Мишу..."

Эх, хорошо бы с этой мадамочкой. Что покрасивее..."

— Что вы, Иван Николаевич, призадумались. Решено, значит, завтра к двенадцати я у вас с грузовичком. Солома, там, или сено, чтобы прикрыть, у вас найдется?

— Семен Никифорович — никакого сена.

"Вот сейчас и произойдет. Все будет сейчас по-настоящему. К черту кафе, к черту Париж, все к черту. Остановится музыка, сбегутся гарсоны, схватят мосье Жана за руки. Ветер, ледяной ветер..."

Много мыслей проносится в голове.

Кривцов — с улыбочкой — счетчик.

— Позвольте, Семен Никифорович...

— Нет, уж позвольте мне, я, так сказать, магарыч ставлю.

Через большие витрины видно: мелкий дождик усилился. С широких улиц вокзала толпа стекается на площадь, растворяется в прилегающих улицах. Приехал, значит, поезд.

Вертится дверь, посетители входят, отряхиваясь. На улицу выйти никак не хочется. Сидеть бы так сиднем под музыку.

"А ведь были рыбы глаза, были..."

— До свидания, Семен Никифорович. Кстати, у нас и пообедаете. Спросите мосье Жана.

Пять минут одиночества и молчания.

Потом:

— Вы как, барышня, свободны сегодня вечером?"

"Новоселье" № 21 (1945)

Дорогой дальнею

Жар начинался не сразу. Томили и горели глаза, дрожь во всем теле, нельзя было думать о холоде ручейка, холодно было под косыми, но еще жаркими лучами солнца, мысли мелькали с удивительной легкостью, подчиняясь особым, не каждодневным законам; все было очень доступно и очень просто, даже если бы захотел Терехов задуматься над сложностью своей жизни.

Все же был жар; жар приподнимался чуть-чуть над земными возможностями, и нельзя было запутаться в этих возможностях. Путались, конечно, мысли, но путаница была особая, ведущая к удивительным по простоте и приятным решениям.

Даже если бы и пришел бред, настоящий бред, заменяя собой дрожь и путаницу, — так ли нестерпимо забыться на вольной дороге, на светлой, подсыхающей зелени, под огромной пустотой синевы.

Все началось с истории о зубе.

Правда, давно уже мучили ежедневным препятствием узкие Лелины плечи, маленький рост, вниз непомерно осевшее тело. Глаза серые, будто налитые светлой водой. Ничего, ничего не помнят. Давно удавалось не спать вместе, но так тоскливы были вечера.

— Что с тобой, Толя, почему не зашел к Дононам, и так нельзя...

Тяжкие вздохи, руки, сложенные на выпуклом животе.

Светлые глаза смотрят мимо.

Терехов лежал тогда на кисейных накидках постели, под низким по толком, постукивал и брэнчал на гитаре, напевая, — и ненавидел (не надо снимать сапог, так удобнее, и черт с ними).

Мадам Донон слушала ехидно историю о зубе.

— Так, — говорила Леля, и Терехов изучал визгливое, чуть в нос произношение, — и вы им кушаете... американские доктора, те до чего додумались. Вынимают у вас больной зуб, даже с флюсом, и лежит он себе на полочке... ну, а потом делают, что надо, и вставляют обратно... и вы им кушаете...

— Скажите, — говорила мадам Донон, — и стоит это недорого?

От легкого летнего ветра над распахнутой дверью колышется кисейная занавеска, Терехов видит — мадам Донон смеется в платочек.

Жар не проходил, жар еще поднимался. Тяжелые тени уже ложились на жаркий асфальт дороги, вечерний холодок пробежал по обнаженным локтям, растекался к спине струйками.

Мадам Донон смеялась в платочек. В открытое настежь окно над черными тенями домов глядело вечернее небо. Терехов встал и тихонько вышел, с мадам Донон не попрощался.

Одиноко и смутно на душе — вечером, на шири парижского авеню, без цели, без дела. Час такой, что редкие прохожие спешат, не оглядываясь. В радужном ореоле сверкают высоко подвешенные фонари. Из резкого белого круга сразу попадаешь в черную тень, и уходит, уходит, вдаль убегают широкая улица. Пустеют окончательно тротуары; ночь будет бесконечно длинная. У решетки метро, под красным, без лучей, огоньком замечает Терехов уличного торговца, веселого карлика Антуана.

Днем Антуан работает, продает камешки для зажигалок, пуговички с застешками особенной простоты, натуралочки для овощей, секреты всякие и неожиданности. И говорит, говорит без умолку.

Однако, если постоять у его столика, сразу заметишь: все он врет, ни во что не верит, ничего такого не думает. Глаза блестят весело, и хотя не

любят его, маленького и уродливого, женщины, а он женщин очень любит — все ему нипочем. Знает он все входы и выходы, денежки у него приколплены, но веселье его совсем не от этого. Поэтому Терехов долго беседует с Антуаном, читая в глазах его надежду.

И вот они вместе глубокой ночью в темной, едва освещенной впадине глухого бистро парижских окраин. Пол цементный, столы приземистые, деревянные, и нет цинковой стойки. На дереве столов — прожженные пятна, буквы и вдавлины. Когда хозяин взмахивает перекинутым через плечо полотенцем или хлопнет входная дверь, пропускающая ночной ветерок, в самом темном углу над дверью черным роєм поднимаются на мгновение мухи.

Терехов с Антуаном пьют, закусывая хлебом, белое вино из высоких стаканов, слушают шепот, разговоры и возгласы посетителей — бродяг, женщин, или просто гуляк, убегающих от бессонницы.

И еще Антуан говорит, говорит без умолку. В таком-то году он был клоуном, а в таком-то бродил по дорогам Испании, — табак на спине переносил, зазывал в балаган посетителей. И все смеется, смеется, сверкая глазами, похлопывая покровительственно Терехова по коленке. Терехов слушает, отмахиваясь от едкого дыма, забывая кашлять... От белого вина в душе подымается особая терпкость, Терехов тоже знает, как выйти на большую дорогу.

И вот, пошатываясь и уже не слушая друг друга, каждый лепеча про свое, бредут они вместе темными улочками, проулками, к туманной Сене. Дома не такие, как днем на широких улицах. В тесноте, пузатые, надтреснутые, западающие книзу. И улицы не такие — знаешь, как войти в переулок, а никак из него не выйдешь.

Дальше начинается ночной простор — широкие набережные, большие очертания наваленной груды добра, обширные склады и серая с черным Сена. Ночная тишина и туман приглушают шаги. Изредка закричит на высокой ноте одинокий локомотив. Под мостом, где Антуан встречает знакомых бродяг, сыро, тепло и уютно. Можно просидеть до утра, помалкивая, забавляясь огоньками и искрами игрушечного костра.

Сена течет медленно, тяжело поворачиваясь во сне, совсем близко расплываясь в неясности. Только у самого берега хлопает маленькая волна. Ничего больше не скажешь, и сказать больше нечего — все известно.

Наутро Терехов не возвращается в дом к Леле, а бредет, направляясь к Лазурному берегу.

Многое забывается и уходит в глубокое прошлое.

Ранее утро на Ривьере — неясное с розовыми отливами. Просыпаясь, знаешь, что целый день будет солнце, и небо будет совсем синим.

Забыты трудности дороги, бродячая жизнь, скитанья по чужим дворам. Даже если не думает об этом Терехов, все же всегда знает — он артист Igor Terek, "баян русской песни" в ночном кабаке Флора. Есть бумага с подписями и гербовой маркой — контракт.

Днем, когда нет репетиций, Терехов гуляет по залитым солнцем бульварам, у самого моря. Все вокруг веселы, все в белом, в легких одеждах или совсем без одежд. Терехов тоже участвует в празднике: легкие теннисные туфли, брюки ослепительной белизны с безукоризненной складкой.

На деревянной площадке, пахнущей свежей тиной, влажной сосной, среди радостных всплесков купальщиц, Терехов склоняется над прозрачным стаканом, следит за блестками играющего под солнцем моря. Легкий, оставшийся с ночи жарок и томление только содействуют утренним радостям. Дни струятся, день струится за днем, как играющие морские блески.

К столику Терехова приближается мадемуазель Эллен, танцовщица, товарищ по "Флоре". Радостно привстать ей навстречу, говорить ей "ты" по-товарищески. Так как работа у них общая, Терехов будет видеться с ней все лето — часто, подолгу — всегда...

Пока не подошли другие — товарищи, знакомые, полужнакомые, — легкий союз под знаком солнца и моря: можно перекинуться с Эллен ничего не значащими словами, многозначительно, понимающе.

Серые глаза Эллен смотрят пристально, помнят, конечно, как целовал их Терехов лунной ночью, на заветной скамейке. И в губы, и в губы...

Господин Арну, хозяин "Флоры", низенький, толстенький (разве бывают хозяева не толстенькие?):

— Часто вас вижу вместе, господин Терек, ах, эти русские!

А Терехов худой и высокий.

Рыжая американка средних лет, прихрамывает — неизвестно кто и откуда — незнакомая, подозрительно и слишком вкусно смотрит на Эллен. Она просит Терехова:

— Monsieur Terek, пожалуйста, please, Doroga dalni вполголоса...

Терехов смеется.

"Дорогой дальнею, да ночью лунною,
Да с песней той, что в даль летит звеня"...

Дорогой дальнею — от смятой постели, от Лелиных объятий, от туманной Сены, к лазурному морю, к серым глазам Эллен, а дальше куда — неизвестно.

Только поздним вечером прохлада одолевает дневной жар. Автомобильные шины хрустят на мокром гравии под электрическим полусолнцем "Флоры". Пахнет морем и эвкалиптами. Раздаются билеты на вечный праздник — входите, пожалуйста.

Шоферы же будут дожидаться конца, прохаживаясь, переключаясь, болтая с деловитым позолоченным грумом.

Терехову полагается входить во "Флору" сторонкой, обходя освещенную площадь, через заднюю полуподвальную дверь. Не развлекаться идет, а работать.

В голубой атласной рубашке, в желтых полусапожках, в клоунском этом костюме, как заставить поверить толпу развеселых гуляк во вздохи, тоску и полет русской песни?

От выпитого коньяка задача представляется легкой, и высоким — собственное назначение. Забыться, взлететь, раствориться в полете. С усталой улыбкой склониться, изнемогая под гром аплодисментов. Эллен, конечно, будет смотреть и слушать...

В темных кулисах сыро и даже холодно. Шныряют деловито, говорят полушепотом — все для того единственного значительного, что за темными перекладинами, за пылью и грязью расставленных декораций. Много ума, труда и усилий потрачено на их расстановку. Есть порядок и смысл в каждом грязном полотнище.

Все это там за гранью, в ослепительном блеске. Здесь же никто не стесняется. Ну, голая совсем прошмыгнула девчонка, молодая певичка. Слоняется, попадаясь некстати, пожилой бородатый скульптор в детских штанишках — ухаживает неизвестно за кем. Арну приветливо кивает на ходу Терехову. Игорь Терек идет в кабаке хорошим номером.

Пожатие руки Эллен. Пудра, одуряющий запах духов, голые плечи, красные каблучки... об остальном после, глубокой ночью, может быть, на рассвете.

Звенит гитара, льется песня, поднимается ввысь душа. Они поймут, они не могут не понять...

— Гори, гори моя звезда —

пусть поблекшая, пошленькая, в пьяном раздолье затрепанная, но все же единственная, всежигающая.

— Гори, гори, моя звезда...

Звени, гитара семиструнная, подруга простейшая, неизменная. Пой, голубой клоун в желтых сапожках, без роду, без племени. Пой до капелек пота на висках, до изнеможения — до грома аплодисментов. Они поймут, они не могут не понять...

Терехов бледный, покашливающий, в ослепительном зале. Столики, шампанское, гул голосов. Одиноким седеющий англичанин угощает русского баяна Игоря Терека. С трудом объясняется, а понял русскую душу оттого, видно, что проигрался сегодня здорово в рулетку. Терехов с англичанином друзья закадычные, навеки. Друг друга поняли, все вместе поняли, ничего им вместе не страшно. Терехов силен, талантлив, все может. Прощай, Леля, кисейные занавесочки, тоска, туманная Сена...

Американочка, медно-красная от загара, волосы платиновые (не дочка ли той, рыжей) почувствовала, видно, силу Терехова, заглядывает в глаза, делает прозрачные намеки — если захочет он, сегодня же ночью его полюбит. Эллен со сцены улыбается, красными каблукками Терехову отстукивает.

Что — женщины? Все возможно, все во власти Терехова.

Хорошо на душе, а ему вспоминается:

Mes souliers sont rouges,
Adieu, mes amours.
Mes souliers sont rouges,
Adieu sans retour...

Сладкая грусть — не тоска. Слишком, слишком хорошо на душе. Терехову надо видеть Эллен.

— Нет, голубчик Джон, я один пойду. Тебе за кулисы нельзя. Я артист, мне все разрешается.

Попадая из светлого зала в темный коридор, Терехов спотыкается по дороге к уборной Эллен. Надо все, все рассказать...

В полураскрытую дверь: зеркало (бледный какой и волосы растрепаны), лампочка над туалетом, угол серой стены, голос, плечо Эллен.

Арну, спокойно, сдерживаясь, рука уверенно на груди Эллен.

— Господи Терехов, у вас нет такта, входите, не постучавшись.

Эллен молчит. Глаза серые — наивные и предательские. Эллен сказала бы:

— Cher Igor, ведь это пустяки, все, что было. Жизнь это вещь серьезная, cher Igor, в жизни надо устраиваться.

Эллен молчит.

Ну что же, в зале есть американочка...

Mes souliers sont rouges,

Adieu, mes amours.

Mes souliers sont rouges,

Adieu sans retour...

Усмехается веселый карлик, друг сердечный Антуан.

— Пей, пей до дна. А потом стаканы будем бить, что ли...

В ночных кабачках нет окон, или они закрываются плотно, навсегда.

На запыленном коротком диванчике, в тяжелой полутьме просыпается Терехов. Погас электрический блеск. В струйках с трудом пробивающегося света танцуют солнечные пылинки. Значит, наступило утро.

Зал еще не успели убрать. Тусклые амуры с веночками глядят с посеребривших стен. Пурпурные драпировки над ложами ничего больше не украшают. На полу много окурков.

Пусто на душе Терехова, и петь больше не хочется.

Что ж, Анатолий Терехов, осталось одно: дорогой дальнею, без лишнего груза, без гитары, без песен. Без любви.

"Литературный современник", 1954 год,
Мюнхен.

Н.А. Тэффи

Ко второй годовщине со дня смерти

Нет больше среди нас Надежды Александровны Тэффи...

Почему ярче всего запечатлевается какой-либо, будто случайный, образ навсегда ушедших от нас близких?

"Русский Дом" в большом парке на Лазурном берегу. Начало весны, сияет небо, нежно расцветают первые анемоны.

Ранним утром Тэффи широко, настежь распахнула окно. На лице радостная улыбка. Наклоняется, говорит сверху вниз, в сад:

— Не правда ли, П.С., как хорошо жить на свете?

А ведь за прошлые сутки было четыре сердечных спазмы, невыносимая боль ("больше минуты нельзя такого выдержать"). Четыре раза за одни сутки умирала Надежда Александровна.

А сегодня: — Не правда ли, хорошо жить на свете?

— Я всегда знала и много раз говорила, что счастье — это не удача, не достижение, счастье — это просто чувство ни на чем не основанное, ничем не объяснимое...

У Тэффи была железная воля к жизни, к каждому предстоящему дню, скучному, смешному, то радостному, то печальному. В одно из очередных умираний записала: "Хочу еще раз услышать увертюру Лоэнгрена, поговорить с одним замечательным человеком и увидеть восход солнца..."

Воля к жизни помогала годами бороться с ежедневным почти умиранием. Слишком все остро чувствуя и все понимая, надо все же всегда улыбаться. Надо смеяться над скукой, над бедностью жизни, над собственным жестоким страданием. Это требует мужества и "умного сердца". "Умное сердце" — дар Божий, которым щедро была награждена Тэффи. Часто она шутя называла себя ведьмой (всегда прибавляя: "вы не думайте, я очень добрая ведьма"). Ведьма знает о чем-то, чего не знают другие. В этом ее сила и власть над жизнью. Слишком зрячая среди многих слепых. Но все же, когда темнота вокруг, как хорошо бывает оставаться слепым, чтобы темноты этой не чувствовать...

В замечательном ее рассказе "Слепая" слепые девушки, взявшись за руки, поют "просто и убедительно":

Ах, озарите, да озарите
Лучем приветным наш темный край...
Ах, отворите, да отворите
Нам двери счастья в наш светлый рай...

А вот как описывает Тэффи в том же рассказе тот "светлый рай", которого так жаждут и никогда не увидят слепые девушки:

"День был тусклый, печальный. Море серое, линючего цвета, сливалось с небом, но не казалось от этого безбрежным. Напротив, оно как будто кончалось где-то совсем близко, ползло мутной дымкой вверх и изнемогало в тяжелом тумане. Оно даже не плескало береговой волной. Совсем было стоячее, мертвое.

Померло море, скончалось..."

Но от того, что померло море нельзя же все ныть да плакаться. Надо порой и посмеяться вволю, а иногда над самым грустным улыбнуться с "нежностью".

В "Мальчике Коле" — последняя записка погибающего мальчика:

"Многоуважаемые мною. Извините меня, нас кормили мерзлой кар-

тошкой, а больше совсем не кормят. Извините меня — мы погибаем"...

Надо покориться и все же улыбаться: "извините меня — мы погибаем..."

А оттого, что острый глаз Тэффи иногда почти невольно подмечал все смешное и глупое, что случается в жизни, называли Тэффи — юмористкой.

"У господина X. — глаза, как круглые яйца, одни белки видны"...

Смеяться для Тэффи — это значит за всякими "миражами" увидеть жизнь без прикрас, в ее настоящем виде. А в настоящем-то виде — ох, какая это жизнь подчас смешная и глупая.

"Сусанна Робертовна, дочь покойного театрального деятеля, попросту говоря — циркового фокусника"...

"Говорят, Иванов — гастроном и большой знаток в винах. Просто говоря — повар"...

"Вы говорите, он спортсмен и любит автомобили, проще говоря — шофер"...

Если хотите, продолжайте называть Тэффи "юмористкой". Но как же она на это звание сердилась: "Какой глупый ярлык прикрепили!"

— Над моими рассказами плакать, а не смеяться надо, — говорила она, сердито нахмурившись. Но не могла не подметить в самом безнадежном, в самом трагическом, смешной и нелепой стороны, просто в силу особенности своего писательского таланта.

Для ее острого ума жизнь — прекрасная человеческая жизнь — все же большой парадокс, большая нелепица.

"И умные, и глупые, и самодовольные, и несчастные — все стремятся к простому человеческому счастью, а тычутся, как слепые, говорят и делают совсем не то, что для этого счастья делать нужно. Это порой очень смешно..."

Все мы — как глупые, иногда очень несчастные дети"...

Я думаю, разве что у Достоевского найдутся строки такой щемящей боли о нелепости земного существования.

Больному мальчику сделали трепанацию черепа. "И вдруг маленький — сколько ему было, года два не больше — вдруг поднял руку и приложил ее ладонью к завязанному виску.

— Слава Богу, — сказал он, — слава Богу.

Он сказал эти слова с такой невыносимой тоской, что даже странно было слышать от такого крошечного существа столько отчаяния.

— Почему, почему он так говорит? — в ужасе спросила Аня.

— А это его папа так говорит, когда доктор смотрит ушко, что оно уже заживает. А Борик думает, что это значит, что ушко болит. Вот он и пока-

зывает, жалуется, что больно, а повторяет "слава Богу". Он ведь еще ничего не понимает. Он совсем маленький..."

Если хотите, продолжайте и после этого называть Тэффи юмористкой...

Несколько лет назад Тэффи прожила с нами все лето. Живем мы на опушке леса, где много берез, где молодые березки, белея тонкими стволиками, обступили лесной пруд с пышно разросшимися кувшинками. Перед вечером красное зарево заката пламенеет на черной воде. Северный русский пейзаж.

Часто перед вечером Надежда Александровна, приодевшись, напудрившись, заявляла: "Иду на свидание с Россией..."

Ходить на это свидание ей было трудно — всего двести метров, но пришлось много раз останавливаться: жестокие сердечные спазмы одолевали.

До последних своих дней Тэффи с неслыханным — беру полную ответственность за это слово — мужеством боролась с болезнью. Всем интересовалась, работала, писала.

Очень уж тяжело ей было в последнее время. За неделю до смерти, в день своих именин, стараясь улыбаться всем пришедшим ее поздравить, все же горько пожаловалась моей жене (которую очень любила и часто говорила с ней "по душам"):

— Да, что вы, Надежда Александровна, вы еще много лет проживете.

— Типун вам на язык, Машенька, не говорите мне таких ужасов.

Одно для нас утешение: не боялась Надежда Александровна смерти.

"Смерть — это вечное пугало, является желанной и благодной"...

"И тогда поняла она, что вот такая и есть смерть, это то крошечное, неделимое, как точка, как мгновение, когда останавливается сердце и прекращается дыхание и чей-то голос говорит: вот он умер. Это и есть вечность. А все надуманное загробное бытие, с терзанием совести, раскаяниями и прочими муками — все это получаем мы при жизни. В вечности этой мелкой дребедени делать нечего..."

Как т-и-х-о..."

Публикация Виталия АМУРСКОГО

Коловращение

В чащобах-лесотах обгорных, куда финтюги-человеки безлетьями не взбирались, жил Круня Протопович со женой Шаней Юльвинишной. Медведи вместо собак подворье четы дозорили, косули бурьяшечник в огороде выкусывали, а зайцы приходили в перинах супружских ойкаться.

В близине избы речулька журкала, а подале — озеро Лад. Травы в том месте такие пахли веяли, что зайдет из-за далья зверун кое-гда непривыкший и, вздохнувши, наземь крющнется.

Нельзя сказать, что там волки кролей не кушали или лисы мышей не щёлкали, но все при взаимном согласьи деялось, по всевышнему законодательству.

Выбрел как-то спросонку Круня на озеро Лад, обмакнул пятки в студенышку и от утренней зги поежился. Освежил мурло и давай на весь облесок песнопень горлопашить.

Небо вдруг над ним взъерепенилось — то железная птаховица огнеточила. Крылетальники по разлеску бросила, хорошо лешии пожарище во время затушили.

Брюхом же птица жар в толщу воды фиаскнулась, аж русалок на берег выбило.

И послышался Круне рявк человеческий. Укропился Протопович в озеро Лад, и из самого дна мужлан-катастрофича вынес. Человек то был бессознанный, но дышала в нем жизнь некрепкая. На руках спасальник его в избу к себе вытащил к чрезвычайному обдивлению суженой.

Положили его в горнице и прикутали одеялами. Долго хворый валял-вирулентился, но откачала его Юльвинична знахорь-ягодой волчьей тыковкой.

Как остужился басурманович — поднесли к нему рыбий суп. А он по своему себе лякает — "Сенкс да сенкс". Зато и прозвали его Сенькой.

Швякнуло Круне лесовика Юху на ковриги медовые вызвать. Юха ведь волховник, человечью мыслю чаёт, небось лепетунь басурманыча на язык лесной перекласть сможет.

К ветходубу прибёг Крунюшка, пока сумеречь не настигла — и давай округ дупла топать.

Долго ли, коротко — из дупла Юхина рыль выпхнулась: "Чё те, гангрена неумная, от меня требно? — разлозился Юха, — Я вжо храпеть выстлался, а ты все округ ёжкаешь".

— Гадал, уважаемый Юха, к вечере вас припарижить. Шаня коврижек